

Елена Андрейчикова

В начале было слово

Позвольте сознаться: впервые за десять лет я радуюсь тому, что мой мальчик именно такой. Правда, искренне радуюсь, негромко и нечасто. Чтобы не вздумали полагать, что бабка сошла с ума.

Да, я его бабушка.

Но будем честны и бескомпромиссны: я его мама.

Его биологическая мать тут же отказалась от него, когда погиб мой сын, его отец. Не, не война, несчастный случай. Не о том история сейчас. Привезла она его в гости, мол, всего на несколько дней, рюкзачок с парой заношенных штанишек, драный плюшевый козлик и чистые нетронутые раскраски, которые я подарила еще года три назад. Привезла Мишку на прошлую Пасху, но больше за ним не вернулась. Я иногда сама ей звоню, камеру включаю, пусть хоть знает Мишка, как выглядит мамашка. Хотя ему все равно, никакой реакции: помаhal, как я заставлю ручку поднять и помахать, – и дальше идет по своим бестолковым делам. Я сердилась на нее, долго сердилась, проклинала, господи прости. Как же это можно? Здоровая девка, руки, ноги, голова, два уха, а она отказывается от своего ребенка? А потом перестала. Слабым душам слабые поступки. А я справлюсь, я смогу, я сумею. Ну и что, что семьдесят! Мы еще и на батуте вчера с Мишкой вместе прыгали. Ну как вместе: я прыгала, а он лежал рядом, иногда его подбрасывало невысоко от моих интенсивных прыжков. Ух напрыгалась! Потом с давлением лежала, но улыбалась.

Черт бы побрал эту невестку.

Простите. Иногда не могу сдержаться и грязно выражаюсь. Я знаю, что слово – это не только слово, это поступок. Но резкость свою считаю справедливостью, хоть и молюсь, чтобы Бог наставил меня на добрый путь, и я перестала сквернословить. Пора бы стать приличной бабушкой. Мальчик мой молчит, хоть и десять ему, совсем молчит, ни словечка, ни буквы еще я от него не услышала. Может, поэтому я иногда и расслабляюсь, не выбирая выражений. Но потом молюсь о спасении своей души сразу после молитвы о спасении моего бессловесного мальчика.

Нелегкое занятие растить дитё, ой, боже мой, для кого сейчас все эти реверансы, я вас умоляю? Это ад, ад! Мне же семьдесят! И нате, здрасьте, разбирайтесь – вдруг внук, еще и бедолажка: умеем только молчать и мычать.

Мишенька совсем не говорит. По каким только врачам его не водила до войны! Молчит, зараза, как Танька Васильева! Это моя подруга юности из Москвы, вместе учились. Ни разу, стерва такая, не позвонила и не спросила, как ты там. Как я тут. Хотя, наверное, ей же лучше. А то я бы слов не сдержала, разумеется, все бы ей рассказала, что я думаю, о нашей денацификации, демилитаризации и деукраинизации.

Мишенька преимущественно мычит. И страшно тормозит, будем честными. Ни черта не понимает, что происходит. Но ест хорошо. Аппетит как у папки его. Но молчит. Взгляд стеклянный, рот всегда открытый, хоть слюни не подтекают – и то отрада. Никто точный диагноз так и не поставил. Каждый врач свое поет: то у Миши такой синдром, то эдакий, то проблемы со слухом, то с речевым аппаратом, то с психикой, то с физикой. И я впервые в жизни радуюсь, что он именно такой. Плевать ему – война не война, знай ест хорошо и музыку включает: обожает Моцарта. Кто его научил? Конечно я. Не мамка же его, коза, уже с мужиком живет новым. В прошлый раз мне по телефону говорит: хотим детей. Ах ты курва, а это ж кто у тебя? Не дети?

Ладно, снова буду материться. Успокоюсь.

Он, зараза, вообще ничего не хочет делать. Одеваться – я помогаю, умываться, ест хоть сам, и то только картошку жареную и котлеты. Долго ест, конечно, одуреешь, пока дождешься.

Я спуску не даю.

Думаю, вот я его залюблю, и он совсем расслабится, не захочется ему сверстников догонять. Я его в строгости держу: Миша! Умываться! Шагом марш! Скажи спасибо! Молчишь? Хоть махни головой! Четче махни, чтобы бабушка поверила!

Машет. И мычит в ответ, и глаза к небу закатывает, мол, отстань, бабка, от меня.

Миша, закрой рот!

Ух заклею однажды!

Вот так и живем. Я, Мишка и драный козлик по кличке Мэээ. Другое имя, как вы понимаете, нам не дается.

Одна радость: война в Украине началась, а мальчик мой ни черта не понимает. Что война ему, что мультики. Appetit стабильный, сон крепкий. Обниматься научился. Как сирены завоют, так я его обнимаю, ушки закрываю. А он решил, что это игра такая. И сам иногда подходит без всяких сирен: обнимет меня и мне уши закрывает. Способный, учится, повторяет. Вот только не говорит. Что ж ты, Мишка, за бабкой не повторяешь? У меня же рот целый день не закрывается! Когда ж уже и ты начнешь, мальчик мой?

Никакой ему печали, ни о чем не думает, ничего не боится. А я на него смотрю – и сама ничего не боюсь. Всегда у него спокойное безмятежное лицо. Без улыбки. Но и не надо. Когда спокойствие такое на детской физиономии, хочешь не хочешь – заразишься. Глазища голубые, папины, как же на сыночка моего похож! Волосы светлые, солома. Мальчик мой.

Опять, зараза, расписал все стену в спальне фломастерами!

Уши закрывает, когда ору.

И мычит.

Ох ты ж зараза, давай заговори. Бабка твоя ж не вечная, ты научись хоть что-то говорить, не всегда я буду твоим переводчиком с миром.

Как ты после меня жить будешь – непонятно. Женить бы тебя, что ли, успеть. На такой же тихой. И безмятежной. И тогда можно на покой.

Снова сирены воют, все нейметса фашистам двадцать первого века Одессу заграбастать, а Мишке хоть бы что – стоит в окно смотрит, еле отвела от окна. Погреб открыла, он счастливый спускается туда и сидит часами. Вот счастье – бабка не кричит, не надо

на прогулку одеваться. Можно рот не закрывать. Сидит дурашка среди банок с огурцами.

– Мария Александровна, поезжайте с Мишей в Испанию, – позвонила мне как-то директор его школы.

– Вы с ума сошли? Какая Испания? Я рассаду высаживаю.

– Мария Александровна, надо. Детей там подлечат, подучат и в безопасности.

– Ни за что!

– Если вы сейчас не поедете, я больше ничего для вашего ребенка делать не буду! И вообще обижусь на вас. Ради внука – поезжайте! Ради сына.

Вот же манипуляторша!

Поехали.

Как я на это согласилась? Сама не понимаю.

Сначала отвезли нас, четырнадцать детей и двадцать взрослых, на автобусе в румынскую деревню. Принимала нас какая-то сектантская американская семья, но люди добрые. А местные какие добрые! Привезли игрушек вагон, еды и одежды. Пожили мы там недельку, пока все документы собрали, и выехали в Валенсию!

Вот же внучок мой молодец, бабуку на старости лет в Испанию вывез! Жаль, обсудить с ним не получается и время, и войну, и вензеля на готических зданиях.

В школу пошел. Как, я вам скажу, они с детьми нашими носят-ся! Тут и мертвый заговорит, прости господи. Но мой молчит. Настойчиво и самозабвенно молчит.

– Мишка, скажи грасиас тете!

Как же! Не дождетесь.

И дельфинотерапия, и арт-терапия, и электротерапия. И слоны, и жирафы в зоопарке – но скажи хоть слово!

Тишина.

Мычит и молчит.

Зря потраченные усилия испанских врачей, учителей, и рассада не высажена.

Сестра моя звонила. Говорит: перестань надеяться, он не заговорит, он отстает в развитии, смирись.

А ты не отстаешь, родная?

Не беспокойтесь, я трубку положила перед этим.

Еще как отстаешь!

Знаете, что она меня спросила в самом начале войны (сама же далеко от нас живет, не скажу геолокацию, а то еще и ей прилетит)? Спрашивает: «А ты как думаешь: это все-таки российская экспансия или стабилизация ситуации?».

Это у вас, родная, дебилизация и децивилизация. А у нас геноцид.

Вот же дура.

И коза.

И в детстве мне покоя не давала. И сейчас. Что говорить, про, казалось бы, близкий народ, когда тут сестра родная такое несет!

Она же старая, на пять лет меня старше, уже маразм крепчает, что с нее возьмешь? А сестра. В трубку я ей только улыбаюсь. А как отключусь – матом. Только ж матом и можно на такое реагировать.

А что ей доказывать и ругаться? Тут и так война, еще и меж сестрами разжечь – небось того и добиваются. Вот я и улыбаюсь.

Счастливый мой мальчик. Никаких бед.

Только, правда, ревнивый.

Ревнует страшно к другим детям – говорить с теми, кто говорит, нельзя, обниматься с ними нельзя. Стоит только заговорить мне с кем-то у школы – так бежит, мычит, бомбит бабку градом слез, мокрая футболка у него, мокрая футболка у меня.

В школе хвалят.

Непонятно, правда, за что.

За красивые небесные глаза.

А вдруг он, зараза, никогда не заговорит? И мычание у него – даже не мычание, какая-то демоверсия звуков. Рот открывает – и как дельфин для самки поет.

А я бы вернулась уже, высадила рассаду, были бы свежие помидорчики к нашему столу. Будет дурнем, так хоть здоровым, напичканным витаминами. Ну и будет молчать. Найдем ему работу непыльную и не очень сложную. Депутатом, например. Тогда точно женю без проблем. Посмотрите.

Размечталась я.

Вспомнила про домашние задания. Сам же не сделает. Мучаю я его каждый день. Потому как испанская наша учительница

очень сердобольная. Если грасиас от Мишки не дождется, так хоть ровненькие цифры, прописанные в ряд, завтра получит.

Усадила его двойки писать. Хуже всех у него идет.

Пишет, глазастенький мой. Мается. И я маюсь.

А сама я в окно засмотрелась и вспоминаю, как до войны я страдала, что мой мальчик такой. А сейчас даже радуюсь. Ничего не знает, ничего не боится, тихий безмятежный мой маленький дух.

Засмотрелась, а он пошел мимо строчек двойки писать, повзлетали они, как облезлые гуси. Как те дикие гуси, что влетели в российский истребитель, который тут же упал, разумеется.

Я же женщина вспылчивая, не умею сдерживаться, сколько ни стараюсь. И кричу на него, бывает. Бабушка горяча всегда была, никогда не сдерживалась в выражениях.

А он смотрит на меня невинными глазами. Один в один, как у его папы. Голубые, прозрачные, чистые, ни злости в нем, ни ненависти, только любовь. Нет, вряд ли это любовь, не думаю, что он понимает, что такое любовь. Хотя я уже во всем стала сомневаться. Может, это я не понимаю, а он и есть та самая вселенская любовь.

Как я устала маяться над его пропащими уроками! Не сдержалась:

– Что за хуйню ты тут пишешь?

И он в Валенсии, в граде культуры, красоты и эстетики, производит свое первое в жизни слово:

– Хуйню.

